

Л.Н. ТОЛСТОЙ

ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Т53

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *А. В. Фереца, Е. Д. Фереца*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Толстой, Лев Николаевич.

Т53 Детство. Отрочество. Юность / Лев Николаевич Толстой. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 384 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-103726-0

Удивительная, пронзительная и лиричная трилогия, в которую Лев Толстой вложил немало автобиографических мотивов.

Перед читателем день за днем проходит жизнь Николеньки Иртенева, мальчика из аристократической русской семьи, — детские игры, отношения с друзьями, первая влюбленность, смерть матери, нелепые и смешные ошибки первых шагов «в свете», представляющиеся в юности судьбоносными и трагическими. Герой трилогии взрослеет буквально на наших глазах — и мы невольно переживаем его радости и горести, победы и поражения как свои собственные.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ДЕТСТВО

Глава I

УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопущкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопущку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal*! — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, шелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nu, nun, Faulenzer!** — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie***, Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это ка-

* Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (нем.).

** Ну, ну, лентяй! (нем.)

*** Ах, оставьте (нем.).

залось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто мама умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай — маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марию Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться. Я совсем развеселился.

— Sind Sie bald fertig?* — послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. На-

* Скоро ли вы будете готовы? (нем.)

лево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»*, в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплета, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпильков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам избрал и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная

* «История путешествий» (фр.).

круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставлял его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber* Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил,

* Милый (нем.).

когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

Глава II

MAMAN

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где выются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только *arpeggio**. Подле нее вполупорот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un,

* А р п е д ж и о — звуки аккорда, следующие один за другим.

deux, trois, un, deux, trois»*, — еще громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием, подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.

— Ich danke, lieber** Карл Иваныч, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

— Наденьте, Карл Иваныч... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала тата, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

— Пойдите на минутку, Мими, — сказала тата Марье Ивановне с улыбкой, — ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет пре-

* Раз, два, три, раз, два, три (фр.).

** Благодарю, милый (нем.).

лести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, татап, — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, — разговор, в котором приняла участие и Мими, — татап положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пядьцам, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь к папá, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название *официантской*, мы вошли в кабинет.

Глава III

ПАПА

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

— Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

— Ах, боже мой милостивый! что с тобой нынче, Яков? — продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). — Этот конверт со вложением восьмисот рублей...

Яков подвинул счета, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.

— ...для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, — кладу по сорок пять копеек, — ты получишь три тысячи: следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч... так или нет?

— Так точно-с, — сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

— Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе, — продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу), — ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счета и перевернул их, показывая,

должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.

— Слушаю-с, — сказал Яков. — А какое приказание будет насчет хабаровских денег?

Хабаровка была деревня тамап.

— Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.

Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счета и начал говорить:

— Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить, — продолжал он с расстановкой, — что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена... (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах, — прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.

— Отчего?

— А вот изволите видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом Богом божился, что денег у него нет... да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?

— Что же он говорит? — спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.

— Да известно что, говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, *судырь*, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я намерен посылал в город к Ивану Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить, положим, что и продается на три тысячи...

Он кинул на счета три тысячи и с минуту молчал, поглядывая то на счета, то в глаза папа, с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать...»

Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.

— Я распоряжений своих не переменю, — сказал он, — но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.

— Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина на счет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское

(село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться.

— Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, — сказал он. — Вы будете жить у бабушки, а татап с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.

«Так вот что предвещал мне мой сон! — подумал я, — дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».

Мне очень, очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.

«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет; это славно! — думал я. — Однако жалко Карла Иваныча. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта... Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча. Он и так очень несчастлив!»

Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.

Сказав с Карлом Иванычем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем чтобы на прощанье выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.

По дороге на верх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца — Милка.